«европейским чудом». С XI в. начинается история «Великого расхождения» западной и восточной цивилизаций: первая в конечном итоге породила промышленную революцию и интенсивный экономический рост прометеевского типа, вторая же оказалась на века в состоянии застоя, которое (применительно к Индии и Китаю) Лал определяет как «ловушку равновесия на достигнутом уровне» (там же: 29–30).

3.4. А ЧТО ВОСТОК?

Восток — это все, что не Запад. Лал, конечно, почти не касается Африки и Латинской Америки[31], но зато довольно обстоятельно рассматривает Индию, Китай и исламские страны. Походя он касается восточного христианства и России, но по понятным причинам в этом случае его воззрения для нас представляют особый интерес.

Православие и Россия. Лал обращается к анализу православия прежде всего для того, чтобы подтвердить свою главную идею: собственному возвышению Запад обязан не христианству как таковому, а в первую очередь двум папским революциям, породившим, соответственно, индивидуализм и институты рыночной экономики.

---

[31] Кратко свою точку зрения на проблемы Африки и Латинской Америки Лал высказал в книге «Возвращение “невидимой руки”». Согласно ей, у африканцев отсутствует противоречие между космологическими и материальными представлениями, характерное для Азии. Однако тормозом развития являются «сырьевое проклятие» и деструктивные действия хищнических националистических элит, унаследовавших искусственно созданные колонизаторами государства. Для Латинской Америки также актуальна проблема «сырьевого проклятия», но к ней примешивается еще «фундаменталистский универсализм», доставшийся от испанских и португальских конкистадоров. Если североамериканцы ведут дискуссии по сравнительно приземленным политическим вопросам, то латиноамериканцы склонны вести борьбу вокруг принципиально различных политико-экономических концепций (демократия–авторитаризм, капитализм–коммунизм). Каждый раз перемена интеллектуальной моды напоминает обращение в новую веру. Диссонанс между реальным социальным неравенством и эгалитарными космологическими представлениями порождает цикличность развития — колебания между демократическим популизмом и авторитарными репрессивными режимами. Только две страны (в Африке — Ботсвана, в Латинской Америке — Чили) сумели выйти из характерных для большинства стран их континентов тупиков (Лал 2009: 258–260).

Он очень четко сформулировал главное различие между греческой и латинской ветвями христианства: «Если папская революция латинской церкви стремилась отдать и Богово, и кесарево Богу, то ее греческая сестра согласилась с тем, чтобы предоставить и кесарево, и Богово кесарю» (Лал 2007: 117–118).

Если латинская церковь обожествляла саму себя, то греческая — светскую власть. «На императора следовало смотреть как на живой образ Христа, наместника Бога на Земле» (там же). Историки именуют эту установку восточного христианства «цезарепапизмом».

Лал отмечает, что разрыв с латинской церковью означал недоступность результатов папских революций для России и, как следствие, ее «подозрительность» к Западу. Он указывает на то, что восточный феодализм отличался от западного перераспределительным земледелием (имеется в виду перераспределение сельскохозяйственных земель в крестьянских общинах в России). Вспоминает о повторяющихся паттернах догоняющего развития России по отношению к Западу. Первые два (при Петре I и Александре II) были подражанием плодам западного индивидуализма, третий (при Сталине) состоялся на импорте с Запада набравшей популярность марксистской мысли.

Лал отмечает обращение России в 1990-е гг. к индивидуалистическим и либеральным традициям Запада, но при этом указывает на возрождение старого спора между западниками и славянофилами (линиями Андрея Сахарова и Александра Солженицына) (там же: 118–120).

Поскольку в книгах Лала России уделяется не так много внимания, как Индии и Китаю, то стоит обратиться к написанному им в 2008 г. предисловию к русскому изданию его работы «Возвращение “невидимой руки”» (Лал 2009). В нем он рассуждает уже о «путинской России».

Лал высоко оценивает книгу Егора Гайдара «Гибель империи» (Гайдар 2006), но при этом не разделяет оптимизма Гайдара в отношении будущих перспектив перехода России к демократии по тайваньскому сценарию, о которых пишет российский реформатор. Вариант, согласно которому в результате роста уровня ВВП и развития среднего класса требования политических свобод в России непременно возникнут в будущем, оценивается как возможный, но маловероятный (Лал 2009: 11).

Для него гораздо ближе точка зрения Дмитрия Тренина, высказанная в работе «Понимать Россию правильно» (Trenin 2007). Она заключается в том, что Россией и дальше будет править «царь» и весь вопрос в том, будет ли этот «царь» плох или хорош. Как пишет сам автор «Возвращения

“невидимой руки”», это отвечает и его пониманию космологических представлений о России.

В то же время Лал не разделяет оптимизма Тренина относительно того, что принятие капитализма Россией необратимо (в терминологии Лала — революции в материальных представлениях россиян). История российского успеха зиждется на сырьевой экономике со всеми вытекающими из нее проблемами. Не забывает Лал и демографические беды России. В итоге устойчивость российского экономического «чуда» вызывает у него сомнения (Лал 2009: 11).

Лал предлагает оригинальный способ решения российских проблем («сырьевого проклятия», демографических и даже политических). Он считает, что сдача Сибири «в аренду» Китаю в обмен на долю сырьевых доходов «позволит России в конце концов избавиться от несбыточной “имперской мечты”, порождающей авторитаризм, и стать “органичным” европейским государством, возможно, даже либерально-демократическим» (там же: 12–13).

«России, — как полагает Лал, — необходимо взять на вооружение англосаксонскую модель капитализма. Для этого ей необходимо создание правовой инфраструктуры, обеспечивающей верховенство транспарентного и беспристрастного закона. На Западе она создавалась со времен правовой революции папы Григория VII в XI веке, но в России эта революция не состоялась из-за раскола христианства на католическую и православную церкви» (там же: 13).

Будущее России Лал связывает с «хорошим царем». «Если из-за своих космологических представлений Россия предрасположена к той или иной форме “царизма”, остается лишь надеяться, что вскоре ее возглавит “добрый царь”, который воплотит в жизнь <…> принципы классического экономического либерализма» (там же). Этой надеждой на «русского Пиночета» ограничивается его видение возможностей позитивных перспективных изменений для России.

Индия. Вернемся из современной России в давние времена и переместимся на Индостанский полуостров. Кастовая система начала складываться задолго до нашей эры, и в итоге она оказалась чрезвычайно устойчивым социальным образованием, которое остается очень влиятельным рудиментарным институтом и в Индии наших дней.

В условиях политической нестабильности (вражды многочисленных монархий) кастовая система эффективно решала проблемы устойчивого предложения дефицитной относительно земли рабочей силы в сельской

местности на равнинах. Однако в предгорьях Индии имели место как другая организация хозяйства, не требовавшая массового привлечения рабочей силы, так и выросшие из племенной организации древние республики, активно сопротивлявшиеся кастовой системе. Это сопротивление носило не только военный, но и идеологический характер (буддизм и джайнизм были антикастовыми религиозными движениями). Только в IV в. н. э. с падением республики Ликхави кастовая система одерживает окончательную победу на всем полуострове.

Эта система, составлявшая базовую социальную структуру Индии, очень напоминала пчелиный улей или муравейник. Касты складывались на основе взаимодополняющих профессий при наличии узкой специализации[32]. Их члены не делились друг с другом секретами мастерства (кастовый кодекс запрещал такое общение). Издержки остракизма за нарушение данного кодекса превышали все возможные потенциальные выгоды от межкастового арбитража на рынке труда. Поэтому если бы какая-то угнетаемая группа захотела, например, покинуть деревню, то ей не удалось бы это даже просто в силу отсутствия комплементарных навыков. Пришлось бы «вербовать» и членов комплементарных каст, но вряд ли представители каст с более высоким статусом захотели бы перемещаться в неопределенность (Лал 2007: 48). Вертикальная мобильность индивида в такой системе возможна была только в случае продвижения вверх в социальной иерархии касты в целом (Lal 2004b: 132).

Лал выделяет наряду с кастовой системой и сельской общиной[33] третью опору индийской социальной системы: расширенную семью. «Базовой единицей социальной системы была семья, а не индивид»

---

[32] Общеизвестно деление индийского общества на четыре широкие касты: брахманы (жрецы), кшатрии (воины), вайшья (торговцы) и шудры (работники и сельское крестьянство). Однако для понимания социальной организации индийского общества и устойчивости кастовой системы гораздо важнее обратить внимание на наличие множества подкаст, в первую очередь внутри последней из широких каст. «Реальной тканью индийского общества было переплетение иерархически организованных подкаст» (Лал 2007: 46–47).

[33] Сельская община в Индии была также чрезвычайно устойчивым образованием. Члены общин не участвовали в множественных политических конфликтах. Это был удел профессиональных воинов — кшатриев. Общины же платили примерно такую же дань победителю, как и ранее побежденному правителю. Можно сказать, что смены правителей если и отражались на их благополучии и образе жизни, то весьма незначительно.

(Ibid.: 50). При этом индийская правовая система была иерархической и холистической.

Материальные представления Индии не способствовали становлению рыночного хозяйства.

> Базовый человеческий инстинкт торговать был бы также разрушителен для оседлого земледелия. Торговцы мотивированы инструментальной рациональностью, которая максимизирует экономические преимущества. Это угрожало бы коммунальным связям, которые все аграрные цивилизации пытались пестовать. Неудивительно, что большинство из них смотрело на купцов и рынки как на необходимое зло и стремилось подавлять первых вместе с рынками, являющимися их институциональным воплощением. Материальные представления аграрных цивилизаций, таким образом, не благоприятствовали современному экономическому росту (Ibid.: 138).

Благоприятное влияние империй на благосостояние населения Индостана связывается как раз с тем фактом, что они способствовали торговле. «Основной причиной процветания империй было то, что они обеспечивали порядок и законность на субконтиненте, которые позволяли развиваться торговле на дальние расстояния, а их распад обычно сопровождался упадком торговли и коммерции» (Ibid.: 130). Однако с империями Индии не очень везло: из 23 столетий (начиная с 300 г. до н. э.) на них приходилось лишь 8 (Ibid.).

Индия достигла своего расцвета после объединения под властью династии Маурья в III в. до н. э. и к началу нашей эры была, вероятно, самой богатой и многонаселенной из всех империй. Ее душевой ВВП составлял $ 551 в пересчете на доллары США по курсу 1990 г. После этого он колебался вокруг этой цифры на протяжении двух тысячелетий (до конца XIX в.) (Лал 2009: 29). «Ловушка равновесия» оказалась очень растянутой во времени.

Модернизация Индии началась исключительно как результат британского влияния.

> Вопреки националистической агиографии, я не нашел никакого свидетельства тому, что в средневековой Индии существовали какие-либо локальные перспективы возникновения роста прометеевского типа, якобы блокированного британским колониализмом. На деле именно под эгидой Британии Индия стала одним из первопроходцев индустриализации в третьем мире. Но из-за старинного предубеждения против торговли и коммерции, а также из-за давнишнего предубеждения брахманов против рынка эти возможности были не реализованы (Лал 2007: 54).

Выделяются два важнейших момента правовой модернизации, принесенной в Индию Великобританией. Во-первых, это разделение судебной и исполнительной функций правительства; оно позволило развиться демократии, а кроме того, несмотря на коррупцию и проволочки, появилась западная правовая традиция, регулирующая торговлю и договоры. При этом поощрялось и продвигалось британское образование среди подданных. Во-вторых, упор на равенство всех перед законом в британской правовой традиции вел к подрыву тесно взаимосвязанных ценностей иерархии и холизма. Против иерархии были направлены новые правовые нормы, которые полностью игнорировали любые различия, вытекающие из кастовой системы. Против холизма работало признание индивида, вместо семей, подкаст и каст, единственным элементом правовой и административной системы. При всех трудностях и недостатках «правовая инфраструктура прививалась, и это представляет собой полную противоположность другой древней цивилизации — Китаю» (там же: 52).

Что касается космологических представлений индусов, то здесь Лал выделяет две особенности. Первая — это различение власти и статуса (иерархически брахман располагался выше кшатрия); вторая — представление о спасении, которое, в отличие от китайского, всегда было личным. В этом индуистская концепция имела больше общего с западным представлением о спасении, чем с китайским. Однако индивидуализм западного типа в индуизме был немыслим[34].

И наконец, немаловажно взглянуть на особенности процесса социализации в индийском обществе. «Главное отличие процесса социализации (и соответствующего процесса внедрения интернализированной этики) от такого же процесса в семитических религиях состоит в том, что он основан на *стыде*, а не *вине*. Индийское общество всегда было “обществом стыда” и остается таковым» (там же: 58).

---

[34] Лал здесь цитирует английского антрополога Эрнеста Геллнера, который указывает на невозможность индуистского Робинзона Крузо. «Индуистский Крузо был бы явным противоречием. Ему суждено пожизненное осквернение: если он жрец, то изоляция и вынужденное самообеспечение вынуждают его производить унижающие и оскверняющие его действия. Если он не жрец, он обречен ввиду своей неспособности исполнять обязательные ритуалы» (цит. по: Лал 2007: 58). В этом сравнении, на наш взгляд, максимально наглядно демонстрируется неполноценность каждого индуса в отдельности в качестве автономного индивида. Подобно вырванной из роя пчеле, он представляет недееспособную часть целого и может выжить, только вернувшись в рой.

Китай. Говоря об историческом прошлом Китая, Лал отмечает только один период, когда наблюдался интенсивный рост. Это была эпоха династии Сун (XI в.), и связан он был с аграрной революцией, произошедшей в результате экспансии в южные земли долины Янзцы и развитием новой технологии выращивания риса на затопляемых полях. Затем последовали бедствия, порожденные монгольским нашествием, и между 1400 и 1800 гг. интенсивный рост прекратился. В указанный временной отрезок продолжительностью в 400 лет «рост численности населения был движущей силой умеренного экстенсивного роста при стагнирующем душевом доходе» (Лал 2007: 59).

В Китае, как и в Индии, существовала потребность привязать относительно дефицитную рабочую силу к земле. Такая же проблема, как известно, имела место и в средневековой Европе. Однако сложившаяся в Китае манориальная система принципиально отличалась от европейского аналога. Причину этого отличия Лал видит в политическом устройстве.

В европейской феодальной системе «увязанные друг с другом права и обязанности предоставили определенную степень автономии различным субъектам политической и экономической жизни, что в огромной степени облегчило последующий подъем Запада» (там же: 60). В Китае же, напротив, поддерживалось централизованное имперское единство, так как «у китайского государства было достаточно собственных ресурсов для обеспечения централизованной обороны» (там же).

Лал, как и все исследователи Китая, пытается объяснить парадокс, который на Западе назван «проблемой Нидхэма» (по имени известного китаеведа). Дело в том, что в эпоху династии Сун в Китае имелись все необходимые компоненты для старта промышленной революции, которая произошла на Западе восемь веков спустя. Наиболее убедительное объяснение этого парадокса Лал находит в работах исследователей, связывающих его с созданием конфуцианского чиновничества — мандаринов. Именно на них была возложена ответственность за реализацию официальной доктрины, гласящей, что император «должен рассматривать Империю, как если бы она образовывала одно домохозяйство» (там же: 63). В то же время и «большинство китайцев полагало, что накопление огромного частного богатства от торговли и промышленности глубоко аморально» (там же), и в результате официальная идеология и народная психология «одновременно действовали в направлении укрепления преимуществ, которые чиновники имели в любом столкновении всего лишь с богатыми людьми» (там же).

Лал называет это формой «хищнического партнерства между правительством и бизнесом», применяет к эпохе династии Сун современный термин «клановый капитализм» (*crony capitalism*). При этом он отмечает, что тогдашняя неудача в обуздании «хищнических рентоориентированных инстинктов государства» оставляет место для сомнений относительно достаточности сегодняшних изменений с тем, чтобы предотвратить повторение подобного исторического цикла (там же).

Тремя чертами китайской цивилизации Лал называет оптимизм, примат семьи, бюрократический авторитаризм. Институциональным базисом социализации являлась семья. «Для китайцев семья тысячелетиями была единственным институтом, заслуживающим доверия» (там же: 67), при этом семья патриархальная, состоящая из представителей разных поколений, связанных не только родственными узами, но и оказанием взаимных услуг.

По всей видимости, китайское общество — действительно одно из самых «государственнических» (этатистских) на Земле. Лал ссылается на утверждение одного из исследователей Китая о том, что не просто китайское государство, а само понятие «китаец» есть творение бюрократии. Различное по этническому составу население было объединено как «хань» через изобретенный бюрократией иероглифический способ написания имен (там же: 65).

Китайская цивилизация знала, в сущности, одного бога — государство. «Религия китайских правящих классов — китайское государство» (там же). В нем «бюрократия достигала каждого села, мобилизуя людей на принудительный труд и военную службу, управляя гулаговской экономикой с работниками, находящимися постоянно или временно в положении государственного раба» (там же: 247, примеч.). Неудивительно, что в таком социуме торговый класс «не имел ни престижа, ни какой-либо правовой автономии, которые могли бы привести к возникновению капитализма» (там же: 246–247, примеч.).

Неоднозначно влияние конфуцианства на восприятие рынка китайским обществом. Существует мнение, что оно выступало только против нечестного богатства, добытого неправедным путем. Однако «коммунистическая партия перевела это конфуцианское презрение к парвеню в установку, направленную против рынков и торговцев» (там же: 67). И в целом отмечается историческая преемственность государственности в Китае, где «коммунистическое государство во многом является переосмысленной бюрократической монархией» (там же: 68).

Индия и Китай: на путях модернизации. У этих двух великих держав определенно есть общее. «“Вскрытые” западным оружием, эти гордые цивилизации с тех пор стараются поправить нанесенный их самолюбию ущерб, пытаясь обрести паритет военной мощи, чтобы предотвратить любые будущие унижения» (Лал 2007: 151).

Лал выделяет три пути, по которым может пойти реакция на столкновение с западной цивилизацией (Лал 2009: 242–243). Первый означает принятие материальных представлений Запада, без заимствования западных космологических представлений. Он ассоциируется прежде всего с Японией (революция Мэйдзи). Второй — «замыкание в себе» из опасения, что модернизация подорвет традиции. В современном мире он наиболее ярко представлен исламским фундаментализмом; в Индии же его отстаивал Махатма Ганди с последователями, а до недавнего времени и индуистская националистическая «Бхаратия джаната парти» предпочитала этот вариант. Третий путь связан с поисками «золотой середины» между традициями и современностью. В данном случае речь идет о той или иной форме социализма. Этот путь стал характерным для Индии и Китая.

Однако социализм социализму рознь. В основу экономической политики Индии легли фабианские социалистические воззрения. В эпоху Джавахарлала Неру была создана «дирижистская планово-командная система» (там же: 244). В Китае же социализм советского типа (коммунизм) породил «еще более экстремальный, по сравнению с индийским, вариант стратегии модернизации — интровертной, основанной на развитии тяжелой промышленности» (там же: 246). В Индии, в отличие от Китая, не было коллективизации, крестьянских коммун (хотя сельское хозяйство и в Индии во имя индустриализации дискриминировалось в плане налогообложения) и не проводилась политика «большого скачка», приведшая Китай к настоящей катастрофе.

При этом обе страны следовали автаркической торговой политике. В результате все в большей степени обрубалась взаимосвязь между внутренними и мировыми относительными ценами. Это пагубно сказалось на эффективности и производительности, показатели двух экономик существенно отставали от их потенциала. Однако в обеих странах автаркические плановые хозяйственные системы отвечали «атавистическим культурным установкам» (Лал 2007: 161).

Что вызвало отказ от следования этим установкам? Что заставило пойти по пути реальных и глубоких реформ? Только ли провалы экономической политики? Ссылаясь на последние, Лал не дает иных объяснений.

Впрочем, из описанных им особенностей китайской космологии следует, что обожествление государства не распространяется на конкретную династию в случае серьезных неудач правления. Она утрачивает «мандат неба», и замена ее на новую выглядит вполне оправданно в глазах общественного мнения. Так что передача «мандата неба» реформаторам после губительных экспериментов Мао Цзэдуна вряд ли сильно выбивается из китайской традиции.

Что же касается Индии, то здесь Лал отмечает три обстоятельства, подтолкнувшие ее отход от дирижизма. Во-первых, острый валютный кризис середины 1960-х гг., который заставил индийских экономистов по-иному оценить ее ориентацию на собственные силы. Во-вторых, реакция на неоклассическое возрождение в 1970-е гг., которое поставило под сомнение интеллектуальную базу так называемой экономики развития. В-третьих, наиболее важным Лал считает тот демонстрационный эффект, который для Индии имели реформы Дэн Сяопина — переход Китая от плана к рынку (Lal 2008: 14)[35].

В процессе реформ Индия и Китай сталкиваются во многом со сходными проблемами. Правда, решаются они по-разному. В Китае получившие образование на Западе «новые мандарины» ищут способы демонтировать остатки прошлого — убыточные государственные предприятия. В Индии политики далеко не столь решительны; многие из них до сих пор привержены дирижистской политике и блокируют решения о приватизации.

Впрочем, возможно, это объясняется тем, что в Китае последствия перекачки средств в неэффективный госсектор могут оказаться гораздо хуже. Лал приводит в качестве иллюстрации следующие цифры: уровень накоплений в Китае примерно вдвое превышал индийский, а разрыв между темпами экономического роста в пользу Китая был не так велик. Дело в том, что 90% накоплений китайцы держат в госбанках, которые, в свою очередь, передают их в виде политически

[35] Вполне вероятно, что этот «демонстрационный эффект» китайской истории успеха продолжает играть для Индии и сегодня немаловажную роль. В докладе «Китай 2030» констатируется, что в последние три декады китайская экономика росла в среднем на 10% в год, 500 млн человек за это время были избавлены от нищеты. Являясь в настоящее время второй после США экономикой мира, Китай занимает первое место в мире по доле в мировой торговле и промышленному производству (China-2030 2012: XV).

мотивированных кредитов низкоприбыльным и убыточным госпредприятиям[36]. Для Китая избавление от растрат инвестиций крайне актуально, так как вследствие политики «одна семья — один ребенок» страна столкнется со старением населения (к 2040 г. соотношение между работающими и пенсионерами будет 2 : 1, а не 6 : 1, как в начале века) и поток сбережений неизбежно станет сокращаться[37].

В Индии же, напротив, демографических ограничений еще долго не предвидится, общая норма внутренних накоплений может значительно

---

[36] В докладе «Китай 2030» также отмечается низкая эффективность госпредприятий: «…предприятия в государственной собственности потребляют большую долю капитала, сырья и полуфабрикатов для создания сравнительно небольшой доли валового выпуска и добавленной стоимости» (China-2030 2012: 25). Вместе с тем «прочные прямые связи между государством и закрепившимися госпредприятиями, особенно крупными, ограничивают вход и доступ к ресурсам для частных фирм, препятствуют эффективному использованию и размещению ресурсов и душат предпринимательство и инновации» (Ibid.: 112). В докладе говорится, что в рамках реформы, нацеленной на структурные изменения, «доля госпредприятий в промышленном производстве должна снизиться с текущих 27% (в 2010 г.) до примерно 10% в 2030 г.» (Ibid.: 110). Это подтверждает слова Лала о «новых мандаринах».

[37] Авторы доклада «Китай 2030» также обращают внимание на эту проблему: «Китаю предстоит пройти через мучительное демографическое изменение: доля зависимого пожилого населения удвоится в ближайшие два десятилетия, достигнув нынешнего уровня Норвегии и Нидерландов к 2030 г. (между 22 и 23 процентами), а численность рабочей силы в Китае начнет сокращаться уже с 2015 года» (China-2030 2012: 8). В то же время, вопреки Лалу, они не связывают этот демографический сценарий с падением нормы сбережений: «Высокие нормы сбережений страны позволят заменять капитальные активы сравнительно быстро, и это будет способствовать быстрому сокращению технологического разрыва» (Ibid.: 10). За счет технологических прорывов и инноваций станет расти и общая факторная производительность, которая, как легко догадаться, по мысли авторов доклада, должна компенсировать негативные последствия предстоящего демографического провала. И хотя годовые темпы экономического роста снизятся до 6–7% в предстоящие два десятилетия (и 5% в 2026–2030 гг.), это будет экономический рост нового качества (Ibid.: 8, 11). Инновационный путь развития видится единственной альтернативой стагнации, которую порождает «ловушка среднего дохода» (Gill, Kharas et al. 2007). «Рост производительности от секторального перераспределения и сокращения технологического разрыва со временем исчерпывается, в то время как растущие зарплаты делают трудоинтенсивный экспорт менее конкурентоспособным на мировом рынке. Если страны не в состоянии увеличить производительность через инновации (а не продолжать полагаться на зарубежные технологии), они оказываются в ловушке» (China-2030 2012: 12).

вырасти в течение ближайших двух десятилетий[38], и высока вероятность того, что в соревновании по темпам экономического роста индийская «черепаха» обгонит китайского «зайца» (Лал 2009: 253)[39].

Интересный вывод, который делается из сравнения Индии и Китая, заключается в том, что «в обеих странах движущей силой роста стали отрасли, которым государство не уделяло внимания, расценивая их как второстепенные, — малые предприятия в сельской местности в Китае и сектор информационно-технических услуг в Индии» (Лал 2009: 253–254). В статье с характерным названием «Индийское экономическое чудо?» приводятся примеры того, как частный сектор успешно захватывал многие услуги, которые должен был бы предоставлять общественный сектор, но не делал этого (или делал неудовлетворительно) в силу своего отвратительного состояния (Lal 2008: 29–30).

---

[38] Поскольку Индия только начинает свой демографический переход, то можно предвидеть изобилие частных сбережений вплоть до стабилизации населения, согласно прогнозу ООН, на уровне 1,6 млрд человек в 2045 г., после чего начнется его старение. Ожидается, что доля работоспособного населения в возрасте 15–64 лет вырастет с 62,9% в 2006 г. до 68,1% в 2026 г. При том, что в 2010 г. общая норма фертильности достигнет величины 2,1, обеспечивающей простое воспроизводство населения, все население будет увеличиваться вплоть до 2045 г. В течение этих трех десятилетий демографического перехода норма сбережений в Индии должна вырасти. Норма частных сбережений вполне может увеличиться более чем до 30% к 2030 г. Если общественный сектор не будет делать отрицательные сбережения, а корпоративные сбережения останутся на текущем уровне, равном 8%, то общие внутренние сбережения Индии вполне могут быть на уровне 38–40% в ближайшие два десятилетия. Таким образом, ясно, что Индия не столкнется с какими-либо ограничениями сбережений в ближайшем будущем (Lal 2008: 26).

[39] Это, на наш взгляд, не исключено, так как Индия (в отличие от Китая) еще очень далека от «ловушки среднего дохода». Среднедушевой ВВП Индии в 2010 г. в постоянных долларах 2000 г. равнялся $ 790, тогда как китайский был в 3 раза выше — $ 2396 (Ward 2011: 3). В этой связи можно вспомнить замечательную догадку Хайека: «Если прибыль можно получить быстро и легко, а экономика в целом показывает быстрый рост, то это значит, что многое в данной экономике оставляет желать лучшего, а стало быть, экономика находится в плохой форме и очевидные возможности будут скоро исчерпаны. Отсюда, между прочим, следует, насколько абсурдно судить о состоянии экономики по темпам роста; темпы роста говорят больше об упущениях прошлого, нежели о достижениях настоящего. Слаборазвитой стране во многих отношениях легче быстро наращивать производство, коль скоро для этого обеспечены некоторые совершенно необходимые структурные условия» (Хайек 2006: 594, примеч.).

В итоге Лал констатирует, что «самым потрясающим явлением последних десятилетий прошлого века стал отказ двух крупных евразийских цивилизаций — индийской и китайской — от социалистического пути и выход на дорогу, которую проложила Япония» (Лал 2009: 254). При этом в перспективе он ожидает от Индии четвертого экономического чуда (после японского 1960-х гг., корейского 1970-х и китайского 1990-х гг.) из тех, что наблюдал на своем веку[40]. Иначе говоря, речь идет о перспективе замены китайского экономического чуда на индийское в ближайшие десятилетия[41].

Однако при этом Лал не утрачивает чувство реальности и четко видит пороки современной индийской экономики. Прорыв, о котором он пишет, вовсе не гарантирован. Обращая внимание на новые формы поиска ренты после либерализации 1991 г. и поползновения создать государство благосостояния, он предупреждает, что страна «может обнаружить, подобно Аргентине в начале XX столетия, что ее, казалось бы, безостановочный экономический рост, бросавший вызов США или Китаю, обратился в прах» (Lal 2011: 11).

Дальний Восток. В случае Кореи, Гонконга, Тайваня и Сингапура Лал ссылается на исследования, которые убедительно демонстрируют, что ничего загадочного в их быстром развитии нет. «Эти чудеса вполне объясняются в конвенциональных экономических терминах: они появились благодаря очень высоким нормам сбережений и эффективным инвестициям, наиболее важным направлением которых стало использование возможностей международного разделения труда посредством международной торговли» (Лал 2007: 163).

---

[40] Индия в состоянии обеспечивать темпы роста около 10% в год, что при ежегодном приросте населения на 1–1,5% приведет к росту душевого дохода примерно в 8,5–9% в год на протяжении следующих двух десятилетий (Lal 2008: 31).

[41] Такую точку зрения могут поддерживать реальные успехи, которых Индия добилась после 1991 г. Ее средние темпы роста постоянно ускорялись (1950–1980 гг. — 3,5%, 1980–1992 гг. — 5,5%, 1992–2003 гг. — 6,0%, 2003–2010 гг. — 8,5%), за два десятилетия среднедушевые доходы выросли с 300 до 1700 долларов США, число живущих за чертой бедности снизилось с 45,3% в 1994-м финансовом году до 32% в 2010-м финансовом году, а уровень грамотности населения вырос за два десятилетия с 52,2% до 74%. Экспорт компьютерных софт-продуктов составляет 2% ВВП, и бурно развивается «экономный инжиниринг» — когда товары производятся на 50–90% (!) дешевле, чем их западные аналоги (Aiyar 2011: 1, 5).

Дирижизм в Корее, как и на Тайване, Лал объясняет необходимостью решения агентской проблемы по мере роста капитализации фирм. Если небольшими предприятиями может управлять собственник, то в крупной акционерной фирме возникает конфликт интересов между акционерами и управляющими. Корейцы, например, решали эту проблему за счет стимулирования создания чеболей и определения победителей посредством показателей экспорта, которые служили своеобразным внешним контролером качества работы управляющих[42]. Сингапур полагался на прямые иностранные инвестиции, Тайвань — на государственный сектор. Однако наилучших показателей эффективности инвестиций достиг Гонконг, который отдал формирование структуры своей экономики целиком на откуп рыночным силам (там же: 164–165).

Япония, как отмечает Лал, также добилась в свое время успеха скорее вопреки, чем благодаря Министерству внешней торговли и промышленности. Постоянная конкуренция за внешние рынки определила эффективность инвестирования значительной части сбережений. Для объяснения японского «экономического чуда» также достаточно стандартной экономической теории (там же: 175).

Однако какова роль космологических представлений в этих историях успехов? Здесь Лал обращает внимание на китайскую модель семьи. Китайские семьи всегда были предприимчивы, но их инициативу подавляло хищническое государство. Успех китайских семейных предприятий связан и с изменениями в способе производства во многих отраслях, выпускающих потребительские товары. «Фордизм» как массовое изготовление стандартизированных товаров все менее удовлетворяет вкусам потребителей. Все большее место занимают «дизайнерские» предметы потребления. И тут китайское семейное предприятие оказалось наиболее подходящим для них. «Для “дизайнерских” товаров экономия на масштабе имеет меньшее значение, чем для старых оплотов фордистского консьюмеризма, так что предприятия мелкого масштаба, которые могут гибко реагировать на сдвиги во вкусах (дизайне), не только не находятся в невыгодном положении, но, похоже, обладают сравнительными преимуществами по сравнению с более традиционными и бюрократически организованными фирмами» (там же: 167).

Есть и другие сферы, где космологические представления о семейной жизни сыграли свою положительную роль. Древнее почитание семьи

[42] Поддержка экспорта продукции обрабатывающей промышленности — наименее селективная форма вмешательства.

в китайской культуре может «объяснить широко распространенное существование того самого “отложенного удовлетворения”, которое привело к невероятно высокой норме сбережений (и таким образом инвестиций) в этих странах» (там же: 168)[43]. Аналогичный аргумент, как пишет Лал, можно применить и к Индии (там же)[44].

Прочность семейных уз объясняет и то, что на них строится система социальной защиты. Это позволяет не копировать Запад с его государствами всеобщего благосостояния[45]. В результате доля государственных расходов в ВВП (так называемое бремя государства) значительно ниже, чем в европейских странах и США[46], что дает больший простор для развития частного сектора.

Что же касается Японии, то здесь для начала можно обратить внимание на радикальное различие между реакциями ее элит и китайских на вторжение Запада[47]. Однако и реформаторы эры Мэйдзи противостояли импорту «западных ценностей». Одна из их задач «состояла в том, чтобы сделать прививку любознательному японскому разуму от потенциально

---

[43] «Чем в большей степени династические семейные интересы управляют индивидуальным выбором, тем ниже будет частный уровень временны*х* предпочтений и, следовательно, выше доля сбережений» (Лал 2007: 168).

[44] В Китае в 2007–2010 гг. суммарные сбережения составляли в среднем около 53% ВВП, в Индии — 34,5%, тогда как в США — 11,5 %, Германии — 24,5% (рассчитано по: World Development Indicators).

[45] Тут вполне уместно обратиться к мемуарам создателя «сингапурского чуда» Ли Куан Ю. «Мы предоставляем <…> людям помощь, но лишь в том случае, если никакого другого выхода у них нет. Такой подход представляет собой полную противоположность социальной политике западных стран, в которых либералы активно поощряют обращаться людей за социальной помощью безо всякого чувства стыда, что приводит к огромному росту затрат на социальное обеспечение» (Ли Куан Ю 2005: 104). Характерно, что он говорит о «чувстве стыда», которое, как мы уже знаем, является главным инструментом социализации в восточных культурах. Кроме того, согласно конфуцианской этике, получать незаработанное — стыдно.

[46] В 2007–2010 гг. среднее отношение государственных расходов к ВВП в США равнялось 40,3%, в Германии — 45,6%, тогда как в Китае — 21,2%, Индии — 26,3% (рассчитано по: World Economic Outlook Database).

[47] «Китайская бюрократия обучалась по книгам китайских классиков и имела практические знания в поэзии и литературе. Напротив, японская бюрократия интересовалась вооружениями и, следовательно, наукой и техникой. Хотя обе страны были конфуцианскими, китайские бюрократы невозмутимо противостояли западной науке. Японские же, от бакуфу при Токугава до реформаторов эпохи Мэйдзи, были полны энтузиазма по поводу овладения западной наукой» (Лал 2007: 171).

подрывных иностранных идей, таких как индивидуализм, либерализм и демократия» (там же: 173). В качестве новой национальной идентичности была изобретена идеология «семейного государства».

Лал полагает, что, несмотря на все послевоенные изменения и обретение материального богатства, цементирующие общество важнейшие аспекты социальной жизни не были разрушены. Процесс социализации до сих пор определяется стыдом, японская концепция «я» исключает душу; семейные ценности, несмотря на серьезные изменения в положении семей, сохраняют традиционные паттерны, что, в частности, проявляется в значительно меньшем, чем на Западе, распространении разводов, меньшем проценте семей с матерями-одиночками и меньшей долей пожилых людей, находящихся в домах престарелых (там же: 175, 177–179).

В то же время в Японии, в отличие от других иерархических обществ и собственного прошлого, иерархический статус не наследуется и не присваивается, а приобретается чаще всего через жесткое меритократическое соперничество за получение образования. «Тем самым японцы смогли приспособиться к нуждам модернизации без вестернизации своего “я”» (там же: 178).

Исламский мир: многовековой застой. Лал отмечает интенсивный рост смитовского типа и развитие науки в эпоху династии Аббасидов[48]. В то же время он подчеркивает, что этот научный расцвет был вторичным, так как исламский мир лишь выступал в роли посредника в передаче идей и методов от ранних древних цивилизаций Греции, Индии и Китая. Рост же смитовского типа подпитывался обильным притоком драгоценных металлов, главным образом золота, добываемого отчасти в качестве военных трофеев, отчасти через неэквивалентную торговлю с африканскими племенами. При этом сколько-нибудь существенного повышения производительности земледелия не наблюдалось. Начиная с XII столетия и позже рост был в лучшем случае экстенсивным (Лал 2007: 74–75).

«После неудачной осады Вены в 1683 г. дальнейшая история ислама стала историей поражения и унижения, претерпеваемых от рук Запада» (там же: 73). Согласно Лалу, поражения в противостоянии с Западом породили три типа реакции. Во-первых, фаталистическую (перемена

[48] Вторая (после Омейядов) династия арабских халифов (750–1258), происходившая от Аббаса ибн Абд аль-Мутталиба, дяди пророка Мухаммеда.

воли Аллаха). Во-вторых, похожую на ту, что имела место у Японии и Китая: создать техническую базу, позволяющую противостоять Западу в военной области. В-третьих, очистить ислам от искажений (вернуться к исконному, «чистому» исламу) и тем самым вернуть расположение Аллаха (там же).

Очевидно, что первая и особенно третья реакция[49] не оставляют никаких надежд на модернизацию. Идея «очищения» ислама принадлежит не только далекому прошлому. Теократическая революция Хомейни в Иране была именно реакцией такого рода. Дело в том, что ислам на протяжении истории сталкивается с конфликтом между научной и религиозной истиной: обратиться к науке можно, лишь отринув буквальную трактовку религиозных текстов. Различие в этом вопросе с христианством определяется исламской космологией: она не допускает свободы человеческой воли (не дает отделить «богово» от «кесарева»), настаивает на всемогуществе бога, полностью поглощающем человеческую волю. Отсюда — как постоянные попытки объединить государство и церковь, с одной стороны, так и нормативный кодекс всех человеческих действий (шариат) — с другой.

Однако шариат не благоприятствовал развитию. Как замечает Лал, за его пределами лежат многие важные области права. Исламское же государство, будучи обществом завоевателей, обладало очень простым конституционным основанием. Земля объявлялась собственностью суверена по праву завоевания, и «начиная с Омейядов и Аббасидов, вплоть до Османов в Турции и Саффавидов в Персии, монополия государства на землю стала традиционным юридическим каноном исламских политических систем» (там же: 83). Кроме того, в шариате отсутствует лежащее в основе западного капитализма понятие римского права о юридическом лице. «Трудно избежать вывода, — пишет Лал, — что исламская правовая система не способствовала экономическому развитию» (там же: 84).

Исламский мир полностью проиграл Европе и по причине в высшей степени хищнического характера государства, который никак не гарантировал частную собственность (там же: 76). Связан этот его характер с космологическими представлениями ислама или нет — вопрос дискуссионный. Однако, как бы то ни было, очевидно, что «капитализм как экономическая система возник, когда купец и предприниматель получили достойный социальный статус и защиту от хищнических устремлений государства» (Лал 2009: 20).

---

[49] «Путь улитки», по меткому выражению Лала (Лал 2010: 147).

Ссылаясь на примеры постататюрковской Турции, Индонезии и Малайзии, Лал утверждает, что «вовсе не исламские верования сами по себе препятствуют развитию, а недееспособный этатизм и дирижизм, отказ от которых <…> вызвал интенсивный рост прометеевского типа» (там же: 87). Подобные высказывания характерны и для других исследователей: «…ислам, как и всякая религия, определяется не тем, что говорится о нем в книгах, а тем, каким делают его люди» (Закария 2004: 131).

Попытка разрешить эту дилемму (ислам и препятствует, и не препятствует развитию) заставляет уходить в популярную сегодня теорию «ресурсного проклятия». Тот же Фарид Закария пытается сузить проблему до проблемы арабского мира, Ближнего Востока[50], а ее, в свою очередь, до «ресурсного проклятия»[51]. Большое значение «ресурсному проклятию» придает и Лал[52]. Однако это, на наш взгляд, не избавляет от необходимости оценки роли исламской космологии в экономическом развитии.

Из приведенных примеров сравнительно успешно развивающихся исламских стран уже видно, что они наименее исламизированные. Однако даже и в них наблюдается мусульманская реакция. Это признает и сам Лал: «Издавна существующее мусульманское стремление объединить государство и церковь никоим образом не мертво» (Лал 2007: 87).

Со временем позиция Лала в отношении исламского мира несколько ужесточилась (напомним, что книга «Непреднамеренные последствия» вышла в 1998 г., до известной вспышки исламского фундаментализма в 2001 г.). Особенно заметно это проявляется в книге «Похвала империи» (издана в США в 2004 г.). «В конечном итоге, — пишет он, — именно *сам ислам является корнем проблем, не дающих мусульманскому миру приспособиться к современности* (курсив мой. — *А. З.*)» (Лал 2010: 154).

---

[50] «Реальная проблема относится не к мусульманскому миру, а к Ближнему Востоку» (Закария 2004: 132).

[51] «Режимы, богатеющие благодаря природным ресурсам, имеют тенденцию не развиваться, не модернизироваться и не легитимизироваться. Арабский мир является самым убедительным подтверждением теории о государствах-паразитах» (там же: 145).

[52] «Главной детерминантой экономической политики, влияющей на эффективность инвестиций и темпов роста, является не столько государственный строй, сколько стартовая ситуация в плане наделенности ресурсами — в особенности наличие или отсутствие сырьевых богатств. По сути, это связано с неизбежной политизацией сырьевой ренты, оказывающей негативное воздействие на показатели роста» (Лал 2009: 337). Подробнее Лал развил эту тему в совместной с Хла Мюинтом работе (Lal, Myint 1996).

В качестве причины этого исследователь более определенно указывает на исламскую космологию, в которой в принципе невозможно отделить духовное от светского: «…в отличие от христианства, где духовная и светская власть могут быть разделены, в исламе такое разделение отсутствует, потому что вся жизнь, включая политику и управление государством, регулируется религиозным законом» (там же: 148).

В 2004 г. Лал обращается и к такому аспекту исламской космологии, как джихад, который он ранее не затрагивал. Хотя, конечно, говоря о традициях общества завоевателей, Лал не проходил мимо того, что идеологическим стимулом завоеваний, создания мировой империи (Арабского халифата) было стремление распространить учение пророка на весь мир. И сегодня священная война против Запада вытекает из известных особенностей ислама. «Ислам считает себя религией мира. Но это мир на условии признания исламской идеи Бога» (там же: 158).

Во всех евразийских цивилизациях выражено неприятие европейской космологии в области семейных и сексуальных отношений[53]. В исламе же оно проявляется особо отчетливо[54]. «Сердцевиной исламистского бешенства является как раз страх перед тем, что модернизация связана с вестернизацией, особенно в частной сфере — в том, что касается семейных и сексуальных нравов и обычаев» (там же: 173). Эту ситуацию, согласно Лалу, удастся преодолеть, «когда мусульмане Ближнего Востока, подобно всем великим евразийским цивилизациям, присоединятся к движению глобализации, поняв, что предполагаемая тем самым модернизация не требует вестернизации и потери собственной души» (там же: 167).

В 1998 г. Лал, рассматривая шансы исламского мира на модернизацию, возлагал надежду и на исламский вариант реформации под влиянием глобализации, которая была задавлена в раннем исламе в результате борьбы с движением мутазилитов (VIII–IX вв.). Они, подобно

---

[53] В основе этого, как справедливо замечает Лал, изначально лежали не какие-то моральные или религиозные соображения, а чистый прагматизм. «Оседлое сельское хозяйство требовало стабильных семей. При постоянной текучести состава семьи невозможно было бы существование стабильных домохозяйств на определенных участках земли» (Лал 2010: 156).

[54] Вероятно, это связано с той стороной исламской космологии, на которую Лал обратил внимание еще в 1998 г. Тезис шариата о том, что каждый ответствен за свои действия лишь перед Богом, означает, что общество не признает никаких групповых интересов, кроме основанных на родстве. В результате «семья стала единственной социальной структурой, которая пользуется божественным и, следовательно, юридическим признанием» (Лал 2007: 83).

христианам, отстаивали свободу человеческой воли и дозволяли иджитихад (интерпретацию) религиозных догматов, который мог бы уничтожить содержащиеся в них препятствия к экономическому развитию (например, взиманию процентов) (Лал 2007: 87–88).

Однако до сих пор исламская реформация является нереализованным проектом. В реальности мы скорее наблюдаем обратное — многочисленные попытки встать на «путь улитки» и обрести «истинный» ислам. И, по всей видимости, далеко не случайно, что в списке из 13 стран, сумевших начиная с 1960 г. преодолеть «ловушку среднего дохода», нет ни одной мусульманской страны (China-2030 2012: 12)[55].

3.5 ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МИРОВОЙ И ИМПЕРСКИЙ ПОРЯДОК

Вернемся на Запад. Вторая папская революция не быстро завершилась триумфом. Для него потребовалось почти 800 лет. Однако когда он состоялся, то это означало, что модернизация (так, как ее трактует Лал) впервые осуществилась: в материальные представления влились идеалы свободной рыночной экономики. Правда, в полной мере это произошло лишь в одной стране мира, которая стала основателем и лидером либерального экономического мирового порядка (ЛЭМП).

ЛЭМП № 1. Мир свободного рынка и свободной торговли на протяжении значительной части XIX в. олицетворяла Великобритания. Лал видит истоки рыночных реформ того времени не столько в идеях Адама Смита, сколько в экономическом крахе политики меркантилизма[56]. Сам ЛЭМП окончательно сформировался под эгидой Великобритании после 1846 г. (с отменой «хлебных законов»).

ЛЭМП № 1 опирался на несколько столпов (Лал 2010: 178–179).

Во-первых, на свободу торговли. Идея фритредерства в то время не считалась ни с какими таможенными барьерами в других странах.

---

[55] Естественно, что арабские нефтеэкспортеры не рассматриваются в качестве таковых, поскольку одного формального признака типа среднедушевого ВВП недостаточно.

[56] «Эпоха реформ в XIX веке была обусловлена не столько теорией Адама Смита, сколько стремлением государств восстановить налоговую базу, разрушенную из-за непредвиденных последствий меркантилистской политики» (Лал 2009: 45).